

П. Д.
БОБОРЫКИН



Избранное



Петр Дмитриевич Боборыкин

Печальная годовщина

«День 22-го августа 1883 года, который сегодня вся истинно грамотная Россия вспоминает с сердечным сокрушением, не мог не вызвать в нас, давно знавших нашего великого романиста, целого роя личных воспоминаний...

Но я не хотел бы здесь повторять многое такое, что мне уже приводилось говорить в печати и тотчас после кончины Ивана Сергеевича, и в день его похорон, и позднее – в течение целой четверти века, вплоть до текущего года, до той беседы с читателями, где я вспоминал о некоторых ближайших приятелях Тургенева, и литературных и, так сказать, бытовых...»

Содержание

I.....	.0005
II.....	.0008
III.....	.0011
IV.....	.0014
V.....	.0017
VI.....	.0020
VII.....	.0023
VIII.....	.0026

Петр Дмитриевич Боборыкин
Печальная годовщина
(Из воспоминаний о Тургеневе)

День 22-го августа 1883 года, который сегодня вся истинно грамотная Россия вспоминает с сердечным сокрушением, не мог не вызвать в нас, давно знавших нашего великого романиста, целого роя личных воспоминаний...

Но я не хотел бы здесь повторять многое такое, что мне уже приводилось говорить в печати и тотчас после кончины Ивана Сергеевича, и в день его похорон, и позднее – в течение целой четверти века, вплоть до текущего года, до той беседы с читателями, где я вспоминал о некоторых ближайших приятелях Тургенева, и литературных и, так сказать, бытовых.

Да будет мне позволено взять в этом очерке только несколько моментов из своих встреч с Тургеневым в разные эпохи его писательской жизни и начать с его торжественных похорон в Петербурге, идя все назад, к нашему первому знакомству в 1864 году, в такой момент его писательского поприща, когда он стоял на распутье вследствие того, как

сложилась его интимная жизнь, и под влиянием той *размолвки*, какая произошла после «Отцов и детей» между ним и русской критикой и молодой публикой.

Я не видал похорон Достоевского и Некрасова (тогда я жил в Москве), а поэтому не могу и сравнивать их с тем, как Россия (а не один Петербург) провожала в могилу Тургенева...

Но таких похорон я никогда и *нигде*, за исключением В. Гюго, в Западной Европе не видал, да, вероятно, и не увижу...

В них было что-то радостно-торжественное, – как такое определение ни противоречит самой идее похоронной процессии. Но это было именно *так*. Те, кто помнят этот день, вероятно, подтвердят верность *такого* «настроения»...

Светлый, ярко-солнечный, теплый день. Вся столица встрепенулась и готовилась к этой могучей, *первой по счету*, манифестации... «Манифестация» значит *обнаружение*, а это и было настоящее обнаружение чувств лучшей доли русского общества, которая хотела показать всем охранителям и гасильникам, *как* она желает проводить тело Тургенева...

Ва в МОГИЛУ...

И сейчас же память переносит меня к другому солнечному, даже жаркому дню в том же году, всего за несколько недель до 22-го августа 1883 года.

Я был в Париже, когда болезнь Ивана Сергеевича превратилась уже в нестерпимое мучительство, когда он доходил до признаков отчаяния от ужасных болей и раз стал умолять, чтобы его «убили»...

Он лежал в своем домике, около виллы Виардо, в Буживале, где мне очень давно не приводилось бывать – с половины 60-х годов.

Зная, что при нем тогда находился почти бесменно г. О[не]гин, которого я встречал еще с 1867 года, я обратился к нему, чтобы узнать, можно ли навестить больного. Ответ был очень тревожный. Понятно, что больного усиленно ограждали от всяких посещений, даже и близких ему людей. А я был только его младший собрат и не мог претендовать на исключение в мою пользу. Но мне было бы слишком жутко уехать из Парижа, не побывав в Буживале, если не за тем, чтобы видеть

Ивана Сергеевича, то хотя для того, чтобы что-нибудь узнать о нем от тех, кто находился при нем до сих пор, – а прошло четверть века, – точно в стереоскопе перед моим внутренним зрением дорожка в парке, поднимающаяся к замку Тургенева. Вилла Виардо – по левую руку для того, кто поднимается.

И каждый раз, как я в Баден-Бадене хожу гулять через лес к «Новому замку» (а это бывает всякий год) и поднимаюсь по лесной дорожке, – она мне поразительно напоминает ту дорожку и невольно вызывает думу о Тургеневе, об его мучительной кончине, об его привольном житье в Бадене, где и я его навещал в 1868 году, об его «Дыме».

Не могу совершенно отчетливо припомнить, кто именно говорил со мною, когда я проник в замок, но никого из членов семьи Виардо я не видал. Вероятно, это была сиделка или горничная. Мне сказали, что больного видеть нельзя... Я не настаивал...

Внизу, наискосок от виллы, на самом берегу реки, примостился трактирчик... Я сел там позавтракать. Хозяйка, узнав, что я был на вилле Виардо, сказала мне:

– Ce pauvre monsieur Tourguenieff![1]

Это были единственные сочувственные слова, слышанные мною за все мое тогдашнее житье в Париже... И было обидно и печально, что наш великий писатель умирал в таком отчуждении от родины.

И всего годом или двумя раньше я в последний раз видел *здорового* Тургенева опять в Париже в конце лета. Он жил в Буживале и наезжал в город – или наоборот, – назначил мне быть у него в таком-то часу утра и опоздал. Я его встретил уже поблизости, около Place St. George, и он меня подвез к себе. Не в первый раз я попадал к нему, в его тесноватые комнаты третьего этажа. О моих впечатлениях от его обстановки я уже имел повод говорить в печати и не хотел бы напирать на то, что многим русским (в особенности покойному В. В. Верещагину и артистке М. Г. С[ави]ной) не нравилось и часто *обижало* их за Ивана Сергеевича... В салон г-жи Виардо я не попадал и не знаю, какую фигуру изображал там *при гостях* знаменитый «друг дома». Но в памяти моей сохранились два маленьких, весьма характерных факта.

Когда мы доехали до дома Виардо и вошли во двор, то из окна первого этажа, около высокого крыльца, покрытого стеклянной маркизой, раздался женский низкий голос...

– Jean![2] – окликнули Тургенева.

И он сейчас же весь как-то подобрался и пошел на этот зов, попросив меня подняться к нему. Зов этот исходил, конечно, от г-жи Виардо.

А раньше я сидел у Тургенева в его кабинете. Дверь приотворилась, показался старичок в халате, бросил на стол пачку газет и, не входя как следует, кинул, ни к кому не обращаясь.

– Void tes journaux, Tourgenieff.[3].

Возглас и главное *тон* его были самые... если уж не крайне бесцеремонные, то слишком как-то небрежные... Ни один из русских друзей совершенно *так* бы не окликнул его, особенно в присутствии постороннего лица.

Тургенев все это сносил и благодушно нес свое любовное ярмо. Да и вообще не был злопамятен. Я это знаю по личному опыту.

Когда в 1878 году на первом Литературном конгрессе во время Парижской выставки мы с ним заседали рядом (он – как председатель, я – как вице-председатель *русского* отдела), мне случалось часто подталкивать его и даже тихонько поправлять, так как он в публике

терялся и, чтобы сказать фразу: «La parole est a monsieur X»[4], заводил целую длинную перифразу с русскими «aura la complaisance»[5] и т. п. оборотами...

Иван Сергеевич все это принимал кротко. А в день митинга в театре «Chatelet», когда он произносил речь, где, на мой тогдашний суд, слишком «расшаркивался» перед французами, говоря о нашей литературе, я позволил себе при выходе с митинга в сенях театра, быть может, слишком горячо высказать ему свой протест. Он не оправдывался, но мог счесть себя задетым таким «разносом». И это не помешало нам и в следующем, 1879 году, в Москве и Петербурге, и позднее за границей встречаться, и беседовать, и переписываться... Другой бы, наверно, «надулся» на всю жизнь...

IV

Овации, доставшиеся Тургеневу в 1879 году как бы «задним числом», положили предел его размолвке с русской публикой и критикой. Ведь прошло целых 17 лет с появления пресловутой статьи «Современника» и печатного недовольства «Отцами и детьми» даже со стороны его старого друга Герцена.

Я видел их и в Москве и в Петербурге и по порядку, подвигаясь *назад*, а не вперед, останавлиюсь сначала на Петербурге. Петербург-то первый и *рассердился* на творца Базарова... А вот по прошествии семнадцати лет подхватил тот подъем сочувствий и чествований, почин которого принадлежал *Москве*. И целую неделю делал из Тургенева героя дня, предмет горячих приемов, рукоплесканий, женской ласки на вечерах, где преобладала молодежь, переставшая обижаться за кличку «нигилист».

Я приехал тогда в Петербург тотчас после московских дней и нашел Ивана Сергеевича в отеле, окруженного своими старыми друзьями. Тут был и М. М. Стасюлевич и М. Г. Са-

вина, участница тех чтений, на которых появлялся Тургенев. С этой зимы и началось их сближение. Известно, что у М. Г-ны есть большая коллекция его писем интимного характера, которые она не желает печатать при жизни.

Без всякого сомнения, это был в писательской карьере Тургенева кульминационный пункт. Ничего подобного и даже сколько-нибудь похожего на его долю не выпадало и тогда, когда он, как художник, стоял всего выше...

Замечательно и то, что петербургские и московские овации случились всего какой-нибудь год после напечатания «Нови». А ведь молодежь не была довольна революционными героями этого романа, и вообще «Новь» прошла без того, что принято называть «большим успехом».

Быть может, молодые девушки, курсистки разных заведений, сделавшие ему такой прием, о котором он потом говорил всегда с умилением, вспомнили, что его Марианна – не отрицательное, а *положительное* лицо, и созданием его Тургенев воздал дань всему тому

душевному героизму, на какой способна интеллигентная русская девушка.

В московских приемах и мне привелось лично участвовать.

Все эти дни живо сохранились в памяти.

Ничего не было заранее приготовлено. Никто сначала в городе и не знал, что Тургенев проездом в Москве и заболел у Маслова, в доме Удельной конторы. Наш общий приятель М. М. Ковалевский повез к нему проф. Остроумова. Тот и помог ему настолько, что он мог уже позволить себе выезжать... Там я его навестил значительно оправившегося и нашел у него Чичерина, которого и видел там в первый и последний раз в моей жизни.

Покойный Юрьев устроил заседание Общества любителей российской словесности и задумал поднести Тургеневу диплом почетного члена. Об этом я сделал анонимную заметку в «Русских ведомостях», где говорилось, что на заседании ожидают присутствия Ивана Сергеевича. Это было подхвачено всей интеллигентной Москвой, и старая Физическая аудитория ломилась от наплыва публики.

Многие помнят это заседание, и я не хочу

повторять здесь того, что сохранилось в их памяти.

Тот момент, когда Иван Сергеевич стоял на кафедре, склонив голову под натиском волнения, овладевшего им, и вся аудитория поднялась со своих мест, – был торжеством русского художественного творчества, просвещенной и благородной мысли, истинной любви к своей родине... И все это вышло так непроизвольно, так для многих неожиданно... Даже и внезапное обращение к нему – с хор – студента В[икторова] не испортило общего подъема. В этих запросах тогдашнего радикала прозвучали в последний раз слишком юные протесты 60-х годов.

Мы в профессорском кружке хлопотали об обеде в зале «Эрмитажа», где Тургенев сидел между Писемским и Островским. И кто-то мне сказал на ухо, указав сначала жестом головы на обоих московских писателей:

– Какой разительный контраст: *он* – Европа с головы до пяток; а эти оба смотрят дореформенными обывателями.

Впервые русская женщина выступила с застольными обращениями к «властителю дум»

целого ряда поколений... Прекрасная собою, слушательница тогдашних курсов Е. П. Л[етко]ва с большим волнением высказалась за многих и многих его почитательниц!.. А бедный «виновник торжества», когда начал говорить, признавался в своем неумении произносить речи и после моего обращения к нему шутливо восклицал:

– И откуда только у него все это берется!

VI

А ведь сколько раз перед зимой этих оаций в обеих столицах приходилось Тургеневу проезжать и Петербургом, и Москвой, с 1862 по 1879 год, и никто этим не интересовался!..

Из таких поездок два я прекрасно помню. Оба связаны и с болезненностью Ивана Сергеевича, и с его многим памятной чертой мнительности – непомерным страхом холеры...

Первое произошло в Петербурге... Я зашел к нему в отель. Это было в те годы, когда обер-полицеймейстером состоял знаменитый генерал Трепов... В номере Тургенева нахожу М. В. Авдеева, романиста, одного из тогдашних его подражателей. И. С. стоит в своей парижской вязаной куртке у печки и встречает меня с изменившимся лицом вопросом:

– Вы ничего не знаете?!!

– Ничего! А что такое?

– Ведь здесь – холера!.. Трепов приказал напечатать в «Полицейских»...

– Ну так что ж? Холера здесь болезнь – уже эндемическая...

– Ах, батюшка! Да разве вы не знаете, как я ее боюсь?

И он стал нам рассказывать, беспощадно выдавая самого себя, как он накануне был в гостях у своего приятеля Анненкова, и туда принесли весть о лихой гостье, и он так расстроился, что не был в состоянии ночевать один в отеле и остался на всю ночь у них.

– Ведь поймите, – говорил он почти дрожащим голосом, – она не щадит именно тех, кто ее боится, – вот как я!

– Но если так, Иван Сергеевич, – возразил я, – то вас в первую голову она должна была бы поражать. А вы пережили несколько холер в России и ни разу не заражались!..

В другой раз, значительно позднее, он проездом в Петербург заболел подагрой, и припадки были так сильны, что ухаживавший за ним Е. И. Рагозин боялся за его жизнь. Было это летом, и остановился он в меблированных комнатах на углу Невского и М. Морской. И в газетах не появилось даже краткой заметки, что «Иван Сергеевич Тургенев здесь и сильно заболел».

В то лето я, попав в Петербург, узнал о нем

от Рагозина и поспешил навестить его. Поднимаюсь к нему по лестнице, а он уже сходит от себя с костылем, с трудом переступая. Я потужил, что ему приходится сидеть одному в пустом Петербурге, вместо того чтобы быть или в Париже, или в деревне, куда он и проезжал.

– В карты выучился!.. Сначала приглашал Салтыкова. Но он меня так всегда ругал за ошибки, что я взмолился и взял другого партнера!

Так безвестно и протянулись в Петербурге целые недели его болезни.

VII

Еще дальше (и ближе к первому моему разговору с И. С.) запомнилась мне продолжительная беседа с ним в ресторане теперь уже не существующего в Петербурге отеля «Демут», с окнами, выходившими на Мойку. Это было в те годы, когда Тургенев основался в Париже (после жителя в Бадене), но стал чаще наезжать в Россию и проводить лето в своем Спасском-Лутовинове, куда я никогда не заглядывал.

Только к этому времени я имел возможность оценить, какой он был блестящий и пленительный собеседник, бытовой рассказчик и художник в своих устных очерках и русской и заграничной жизни, в портретах и характеристиках людей.

Всем известно, что при очень большом росте и богатырской фигуре у него был жидкий, высокий, слабый и несколько шепелявый голос, с оттенком произношения старожилов местностей пониже Москвы, в Орловской, Тульской и Тамбовской губерниях. Но это не мешало обаянию его разговора, так же, как не

мешало ему, когда он сам читал свои вещи, особенно из «Записок охотника». Прибавлю, что он хотя и был настоящий барин и светский человек более, чем все писатели его эпохи, но в русском произношении не грешил никакой манерностью и сохранял настоящий великорусский говор. По-французски же он говорил уже как старый парижанин «из русских», с разными ударениями и словечками, какие прививаются только после очень долгого житья с французами. Как он говорил по-немецки и по-английски, я не имел случая наблюдать.

Так вот, за тем обедом у Демута речь зашла почему-то о Л. Толстом, которого он, как и другие его сверстники, привык за глаза называть «Левушка Толстой».

Тогда он уже не скрывал ни перед кем (и это попало в его письма), что он не восхищается *очень многим*, что есть в «Анне Карениной». Но его преклонение перед автором «Казаков» и «Войны и мира» было *безусловно*, — такое, как ни у кого из тогдашних писателей. Тогда-то он и любил называть его «слоном» по силе творчества и без всякой фальшивой

скромности ставил его неизмеримо *выше* себя.

Вот тут он и рассказал мне подробно историю своей ссоры с Толстым – очень просто, с необыкновенной объективностью тона, не умаляя того неприязненного к нему чувства, которое уже сидело в Толстом, *но и не выгораживая самого себя нисколько...*

И никогда, ни в тот раз, ни в другие разговоры на литературные темы, он не отзывался дурно о русских писателях. О парижских своих приятелях в последние годы высказывался с большой меткостью, за что они по смерти его и рассердились все.

VIII

В долгий промежуток между 70-ми годами и первой встречей с ним в 1864 году помещаю я мою поездку в Баден, где он только что выстроил себе виллу рядом с домами, где жило семейство Виардо.

Кстати, вилла эта давно уже перешла в чужие руки, и теперь там – просто «меблировка». Несколько лет назад (в письме, напечатанном мною в одной из наших газет) я высказывал, как желательно было бы приобрести эту виллу и сделать в ней убежище для писателей, нуждающихся в таком курорте, как Баден-Баден... Мысль моя сочувствия что-то не встретила.

В начале сентября 1868 года (по-нашему в конце августа) я после целого сезона, проведенного в Англии, из Парижа направился в Швейцарию, на конгресс «Мира и свободы». Мне захотелось по дороге посетить автора «Дыма» в его тогдашнем «Vuenretiro»[6], как называют испанцы.

Насколько *теперешний* Баден-Баден мне мил, настолько же *тогдашний* мне не понравился.

вился; вероятно, оттого, что я нашел в нем все тот же Париж игроков, «растакуэров» и кокеток, который к тому времени мне уже достаточно приелся. Тогда царила рулетка и привлекала всех таких россиян, какие изображены Тургеневым в «Дыме».

Я нашел его и тогда уже *на вид* очень пожилым, совсем белым, но еще бодрым. В кабинете, где он меня принимал, мы беседовали недолго, но в его тоне, когда он заговорил о России и русских, сквозило некоторое субъективное чувство... Ведь тогда еще не улеглись раздраженные и недовольные толки об его последнем романе. *Но другого* из жизни тогдашнего *русского* Бадена он написать не мог.

В тот же день я видел его издали еще два раза: в книжной лавке (где теперь читальня кургауза) и на представлении итальянской оперы, в ложе с семейством Виардо, когда я в первый раз мог достаточно рассмотреть наружность властительницы его сердца.

На другой день я должен был у него завтракать, но получил извинительную записку, – кухарка его заболела. А мне нельзя было заживаться: я спешил в Швейцарию.

И опять перерыв – в четыре года. Это было в Петербурге, в зиму 1863–1864 года. Я сделался издателем-редактором «Библиотеки для чтения» и приехал просить его о сотрудничестве. Перед тем я слышал, как он читал на вечере «Довольно». Это совпало с его тогдашним разладом с публикой, и он решился устроиться за границей навсегда.

С откровенностью, которая меня даже удивила, он начал говорить, что обещать ничего мне не может, потому что он смотрит на свое писательское дело точно как на *поконченное*.

– Своего гнезда я не свил себе, а примостился к чужому и буду теперь жить вдали от России. *Сочинять* из себя я ничего не могу. Мне надо *жить* среди тех, кого я описываю.

Это были почти что подлинные его выражения.

А теперь вернемся к 22-му августа 1883 года и скажем «Finis!»[7]

Примечания

1

Бедный господин Тургенев! (*фр.*)

[^^^]

Жан! (фр.)

[^^^]

3

Вот твои газеты, Тургенев (*фр.*)

[^^^]

4

Слово имеет господин X (*фр.*)

[^^^]

5

предстоит удовольствие (*фр.*)

[^^^]

прибежище (*исп.*)

[^^^]

Конец! (*лат.*)

[^^^]